



С. Н. ДУРЫЛИН

В. В. Розанов

Летом 1918 г. Василий Васильевич Розанов привез ко мне в Москву из Посада маленький тючок, развернул и сказал: «Вот это прошу Вас отдать куда-нибудь на сохранение. Сберегите. А после моей смерти отдайте моим детям». В тючке были, в больших незапечатанных конвертах, листочки, зачерненные мелким-мелким бисером его, единственного по нежной тонкости и по неразборчивости, почерка: продолжение «Уединенного». Я с радостью, не отрываясь, смотрел на это богатство. Но Вас<илия> Вас<ильевича> занимало что-то другое. Он рассеянно смотрел на конверты с листочками, почти не слушал, что я ему говорил, перелистнул какую-то книгу, лежавшую на столе, — и вдруг, решительно вытянув из внутреннего кармана пиджака какой-то запечатанный конверт, подал мне его и сказал:

— А вот это сберегите; когда умру, соберите Варю, детей, распечатайте, — и прочтите им.

Я принял конверт: он был мят и грязноват.

Сказав то, что сказал, и вручив мне конверт, он ничего не прибавил в пояснение.

Все, что он просил, было исполнено.

Когда он умер, пакеты с листочками были мною переданы его семье, а запечатанный конверт я предъявил Варваре Дмитриевне, собрав Таню, Надю и Александру Михайловну в той маленькой комнате в доме Беляева на Красюковке, которая служила столовой и была рядом, дверь в дверь, с комнатой, где он умер.

Я распечатал конверт и выложил на стол все, что там было: две, помнится, небольшие записные книжечки в клеенке, два-три листочка, — и старое, пожелтелое письмо... Книжечки мы перелистывали: там были какие-то незначащие или нам показавшиеся такими, записи, пометки делового характера, немало пустых страниц... Ничего в них не было такого, что объясняло

бы их присутствие в запечатанном конверте, назначенном к по-
смертному вскрытию. Книжечки принесли недоумение. Зачем
их было запечатывать? В это время Варвара Дмитриевна взяла
пожелтелое письмо, — и только глянула — воскликнула:

— А! Вот это... — и протянула мне:

— Читайте.

Я стал читать вслух. Почерк был Вас<илия> Вас<ильевича>, но несравненно четче, чем знакомый мне: было видно, что письмо, — или, точнее, то, что я читал, — было написано много лет назад...

Я читал — и дух останавливался.

Это был рассказ о первой женитьбе В<асилия> В<асильевича> на Аполлинии Прокофьевне Суловой, любовнице Достоевского, о их супружеской жизни и о конце этой жизни — и, главное, о том, что вынес в этой жизни Вас<илий> Вас<ильевич>. Рассказ был написан, надо думать, в самом начале 90-х годов — и в определенное время: тогда, когда Вас<илий> Вас<ильевич> был уже женат на Варваре Дмитриевне. Рассказ весь строился по контрасту: что было тогда, при Суловой, и что стало *теперь*, когда при нем В<арвара> Д<митриевна>. О «теперь» он, впрочем, ничего в письме, сколько помню, не говорил: «теперь» — это было глубокое, полное счастье. Это было счастье в онтологии, если можно так сказать, счастье от корня бытия, счастье от «лона Авраамова», полученное от «Бога Авраама, Исаака и Иакова». В счастье этом с В<арварой> Д<митриевой> открывалась вся та нежность, успокоенность и глубина родовой мудрости, которые всегда видел в таком счастье В<асилий> В<асильевич>, как писатель. Когда писалось то, что я читал, этим счастьем в онтологии В<асилий> В<асильевич> обладал и был насыщен им, как библейский старец — днями, — и вдруг, как отошедшая ужасная боль, припомнилось ему в «лоне Авраамовом» то, что до безумия противоположно было этому лону и в чем он жил шесть лет: счастье из глубин онтологии представило ему до ясности недавнее «счастье», искомое в психологии, — и какой еще! В «психологии» бывшей любовницы Достоевского, 40-летней женщины, про которую можно было бы повторить евангельские слова: «У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе»¹. В<асилий> В<асильевич> ранее рассказывал мне как-то, что женился на Суловой потому, что она была любовницей Достоевского. Это был брак от «психологии», брак по Достоевскому, — но совсем не по Розанову, не по автору «Семейного вопроса» и «В мире неясного и нерешенного». Брак — из романа Достоевского, а не из лона Авра-

амова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно «пожила», — не только с Достоевским, но (знал ли это В<асилий> В<асильевич>, когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. Об этих «испанцах» в письме не было, это я знаю уже из книги, заглавие которой выписано выше, но в письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее противопоставление того, что Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: «та, кого любил Достоевский!» — оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее саму жизнь: несмотря на «романтику», на «Достоевского», он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности «Бога Авраама, Исаака и Иакова»² оказалось озлобленное безбожие шестидесятиницы с постелью «принципиально» бездетной; вместо возлюбленной и нежной — озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полу-нигилистка, полу-Настасья Филипповна (из «Идиота»), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой «колыбельной песни» в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины — «непрерывным раздражением пленной мысли», озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, — и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлежать, как герой «Песни песней», на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю.

Течение письма прерывалось восклицаниями: «Она измучила меня! Она ненавидела меня!» * (Достоевский предупреждал ее: «Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа»³).

Теперь, когда с ним была Варвара Дмитриевна, все это видел В<асилий> В<асильевич> и мог кричать это ей с особой силой,

* В дневнике Суслова писала 24.IX.1864 г.: «Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания» (с. 923).

так как в Варваре Дмитриевне он нашел то нежное, пробуждающее мудрость и дающее покой — лоно, которого искал и у той, но нашел нигилистические иглы вместо лона.

Письмо было потрясающее. Любовь и ненависть, благословения и проклятия сплелись в нем. В нем был крик спасшегося от гибели, крик с берега, — волне, которая только что была, хлестала его, чуть-чуть не разбила о камень, и вот он все-таки выбрался на берег, жметя к тихому и теплому лону земли, а волне шлет проклятия.

Когда чтение было окончено, Варвара Дмитриевна — земля с тихим и теплым лонем — приняла у меня письмо, — заплакала — тихо и кротко.

Все молчали.

Мы поняли все смысл этого загробного чтения: В<асилий> В<асильевич> хотел, чтобы и дочери его знали, кто был бьющей о камень волной и кто был прекрасно-творящей землей в его жизни.

Что случилось с этим изумительным письмом (гениальным с точки зрения словесности), я не знаю.

Много лет спустя, уже в середине 900-х гг. В<асилий> В<асильевич> во второй раз рассказал о Сусловой уже в письме к чужому — к биографу Достоевского А. С. Волжскому^{4*}.

Теперь вот книга вышла о Сусловой. Все это и вспомнилось. О Розанове в ней говорится, что он «один из лучших истолкователей (Достоевского), потому что был он во многом ему конгенитален» (с. 5). В примечании (с. 173) сказано о Р<озанове>, что он «талантливейший публицист, критик и мыслитель», отец целой школы истолкователей Достоевского, но что он же «представляет собою удивительную смесь различных черт как положительных, так и отрицательных героев Достоевского», и в «Н<овом> вр<емени>» писал «ради высокого гонорара нередко то, во что сам не верил» (с. 173).

Показания В<асилия> В<асильевича> о Сусловой все берутся автором под сомнение, все почти отвергаются, т<ак> к<ак> В<асилий> В<асильевич>, «по-видимому, всю жизнь испыты-

* Биографию он так и не написал, а письмо розановское отдал, здорово живешь, Гроссману. Тот напечатал его с несколькими строками своих объяснений в «Русском современнике», подписался Л. Гроссман, получил гонорар и славу первого обнародователя интереснейшего документа для биографии Достоевского. Когда в 1925 г. Волжскому пришлось поехать в Семипалатинск по делам и он, желая покопаться в тамошнем архиве о Достоевском, попросил у Гроссмана какую-нибудь бумажку от Академии, тот ничего не дал. Урок простакам.

вал к Сусловой глубочайшую ненависть в соединении с неискоренимым восхищением» (с. 7). Последнее вовсе несправедливо: ни в конце 90-х, ни в 900-х гг. не было никакого «восхищения». «Ненависть» же была понятна: она ему, безвинному, мстила тем, что в течение почти двух десятков лет ни под каким видом не соглашалась на развод, так что «дети его от второй жены долго не могли носить его фамилию» (с. 41). Долинин⁵ не знает, что для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой в Сибирь: он не просто *жил* с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые не могли носить его фамилии. Это было бы полбеды. Дело в том, что В<асилий> В<асильевич> был *тайно обвенчан в церкви* с Варварой Дмитриевной. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благородству своему, молчал), Вас<илий> Вас<ильевич>, как двоеженец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам — разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение. Когда детей надо было отдавать в школу, а они были без фамилии отца, Бутягины, а не Розановы, Тернавцев поехал в Крым убеждать Суслову дать Вас<илию> Вас<ильевичу> развод⁶. Вернулся ни с чем и сказал: «Это не баба, это — черт в юбке!» Вас<илий> Вас<ильевич> соглашался с женой Достоевского, что Суслова была «цинична». Этот цинизм и чувственность, сопровождаемые злобной, мечущейся серостью души и жизни, преисполняют ее «Дневник». Даже сам защитник ее должен признать, что после разрыва с Достоевским ее постигает «падение»: «катастрофическое понижение всего диапазона ее душевных переживаний, *ставших вдруг* (! конечно, всегда и бывших. — С. Д.) какими-то маленькими и мелочными»; «явно ощутимая пошлость, которая проявляется теперь в ее отношениях с окружающими ее людьми» (с. 33). На этом тягостном фоне «мелькают, точно серые сумеречные тени, лишённые яркости и глубины, герои романа на час, игру в любовь с которыми она подробно описывает» (там же). «В той плоскости, в которой она ими интересуется (чувственной! — С. Д.), они (ее “безымянные герои” — С. Д.) ведь так похожи друг на друга, затушеванные под своей национальностью (валлах, грузин, англичанин, француз) или под профессией (лейб-медик), — она непременно дарит свое внимание каждому из них» (с. 34).

Но злобствует она на них, на этих мимолетных валлахов и испанцев своих, не меньше, чем на Розанова: «Знаю, что пока существует этот дом, где я была оскорблена *, эта улица, пока этот человек пользуется уважением, любовью, счастьем, — пи-

* Испанец изменил ей.

шет она в дневнике (с. 77, 7 января 64 г.), — я не могу быть покойна... Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела... но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня, и, мстя ему, я отомщу им всем. После долгих размышлений я выработала убеждение, что нужно делать все, что находишь нужным. Я не знаю, что я сделаю, верно только то, что сделаю что-то. Я не хочу его убить, потому что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом, я отниму у него радости, я его унижу» (с. 77).

Эти фуриозные строки объясняют ее всю. Все это она хотела сделать с изменившим ей испанцем Сальвадором, ради которого она изменила Достоевскому, — но с испанцем сделать этого ей не удалось, а удалось сделать с Розановым. Еще в 1886 г. Розанов просил у нее развода, она отказывала, что явствует из письма к ней графини Салиас⁷: «Смотрите, чтобы этот муж, которого *вы насильно желаете быть женой*, не наделал вам бед» (с. 43).

Но бед наделал не он ей, а она ему.

История очень проста.

Когда В<асилий> В<асильевич> нашел свою Рахиль, свою Варвару Дмитриевну, он понял, что с нею нашел свое гениальное писательство, нашел себя, счастье свое и семью, — но, обретши Рахиль, понял также, что до Рахили у него была не кроткая, хотя и не любимая Лия, а неистовая Медея. Муки от Медеи, претерпленные Иаковом, всегда мечтавшим иметь нежно возлюбленную Рахиль, — вот — в свете книжки о Сусловой — все содержание того письма, которое я читал по воле В<асилия> В<асильевича> самой этой Рахили и чадам ее, когда уже самого Иакова не было в живых.

Медея — на то она и фуриозная особа — не могла перенести, что оставивший ее Иаков счастлив со своей Рахилью, — и, как и подобает Медее, мстила не только Рахили, но и *детям* их. На детях-то и проявляется нарочитая Медеина месть: пусть будут без законного отца (как ненавидел В<асилий> В<асильевич> эти слова: «незаконные дети» и «законные дети»), с поношением подвергающейся матерью, пусть будут они без имени. Так Медея мстила почти двадцать лет; старуха под 70 лет, она настолько не теряла своей фуриозности, что всякие виды выдавший, твердый мужчина победоносцевской школы, Тернавцев воскликнул не менее фуриозно: «не баба, а черт в юбке».

13.VI. К характеристике Медеи: в Монпелье она сблизилась с женой Огарева (Тучковой)⁸, перешедшей в жены к Герцену. «То

она хочет, чтоб женщины жили отдельно от мужчин, чтоб не вмешивать в жизнь семейную все дрязги хозяйства и видеть только в свободное время (уж не сераль ли), то не хочет, чтоб женщина выходила замуж и, паче всего, чтоб не иметь страстей, то хочет выселиться из Европы и составить братство, но нет еще товарищей... Наконец, сегодня мы с ней как будто договорились. Я говорю, что *пользу* нужно *приносить* (ее курсивы. — С. Д.), хоть одного мужчину читать выучить...

— Нет, не то. Нужно, чтобы *цивилизованные* в ... (неразобрано одно слово) составили для модели общество, в котором бы не венчались и не крестили детей, написали бы книжки для русского народа.

— Но как составить такое общество? Пожалуй, никто не пойдет.

— А Лугинин и Усов?⁹

Я просила считать меня кандидатом» (с. 119).

Розанов — и кандидатка такого общества! Жить с нею долее значило бы для него не стать Розановым, автором «Сем<ейного> вопроса», «В мире неясного», всего, что писано им о поле и браке. Против нее *вопиала* вся его онтология, все зерно его писательства, дремавшее в нем и вырвавшееся наружу не пустоцветом («О понимании»), а истинным цветением и плодом *только* с Варварой Дмитриевной: нашел он Рахиль свою — нашел и гений свой. Связано. Накрепко. Неразрывно. Вот кто была его Музой всегда — Рахиль бесписьменная, тихая, без шумной «близости» с Достоевским, без знакомства с Герценом и его Тучковой-Огаревой, но зато без «испанцев», без «психопатологии», с одной мудрой онтологией «ложе нескверного», — с любовью великою, — вот кто была его музой — Варвара Дмитриевна. Этого тоже не могла никогда простить Медея. Она спала с Достоевским, рассуждала с Герценом, и вдруг от нее и при ней ничего, ничего не явилось розановского — ничего, кроме огромного — далекого от гения Розанова — трактатища «О понимании», а при этой — при семейственной, скромной Рахили, которая с Герценом не только не разговаривала, но и не читала, рождается не только ребенок за ребенком с лона, не оскверненного ни с каким испанцем, но и книга за книгой рождается у Розанова, — и какие книги: «Легенда о Великом Инквизиторе» (СПб., 1893) *,

* Вот что о ней пишет тот же Долинин, к чести его сказать: «Критика школы символистов (Мережковский, Лев Шестов, Вольтинский, Вяч. Иванов и их ученики) только углубляет и расширяет те основные положения о Достоевском, которые впервые были высказаны Розановым в его замечательной работе «Легенда о Великом Инквизиторе» (СПб., 1893, с. 173).

«Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Природа и история», «В мире неясного и нерешенного», «Литературные очерки», «Около церковных стен» и т. д. Как же это перенести книжной Медее, что русская литература ей ничем не обязана, а скромной Рахили — всем? Впрочем, и ей обязана русская литература: ее, Медеиной, мстью *детям* Розанова, ее упорным удерживанием этих детей от Рахили на положении «незаконных» («законными» были бы дети от бесплодной Медеи) вызвана та страстная защита прав «незаконных детей», которую Розанов повел так горячо и твердо в «Семейном вопросе в России», в газетных статьях, что из русского законодательства исчез самый термин «незаконнорожденные».

А она, действительно, имела в себе что-то фуриозное, — даже до комизма. Медее свойственно возиться с ядами. Она и тут не отступила от греческого прообраза. «Потом она (Медее № 2: “Тучкова-Огарева”, перешедшая к Герцену —) просила меня достать ей яду через моего доктора. Я, как особа без предрассудков, гуманная и образованная (— Медее ли стесняться в высокой оценке самое себя!), обещала ей, но я не знала, как было приступить к моему доктору с такой просьбой...» (с. 119) *.

С добытчицей ли яда было жить бедному Василию Васильевичу, человеку семейному и тихому, с рыжей бороденкой и папироской во рту?

13.VI. P. S. Долинин называет Розанова человеком, «во многом конгениальным» Достоевскому (с. 5) и «почти гениальным человеком» (с. 42). А вот что приходит в голову: в 60–70 годах атмосфера русской культуры была еще такова, что человек с темой Достоевского, с пафосом Достоевского, с гением Достоевского еще мог выразить себя, благо он был художник (хуже б ему было, если бы он был чистый мыслитель); но в 90–900-х гг. атмосфера русской культуры была уже такова, что человек, Достоевскому «конгениальный» и «почти гениальный», уже *едва* мог не выразить, а выкрикнуть свою тему, свое «Я само» («я-то бездарен, да тема моя гениальна»), — и уже не в журналах, как Д<остоевский>, а в газете (весь секрет, почему был в «Н<овом> вр<еме-ни>», конечно, не в деньгах, а в том, что Суворин давал возможность выкрикнуть о Египте, о «звездном», обо всем, о чем и заикнуться было нельзя у Гольцева в «Рус<ской> мысли», у Михайловского в «Рус<ском> богатстве» или у Стасюлевича в

* Доктору, утешавшему ее после одной операции, что она будет «иметь детей», она ответила, что это ее «ничуть не утешает». «Почему же?» — «Потому что я не умею их воспитывать» (с. 121).

«Вестн<ике> Евр<опы>», или в профессорских «Р<усских> вед<омостях>», в своем издании на свой риск (сборники и книги). Ныне же человек с темой и воплями Достоевского или «конгниального ему» человека с неугасимой папироской был бы немой: с землей во рту. И сама тема — с землей во рту.

